

Текст: Вячеслав Недошивин, кандидат философских наук, ведущий рубрики

БЕЗОРУЖНЫЙ

26 АВГУСТА 1921 ГОДА БЫЛ РАССТРЕЛЯН НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ,
СКАЗАВШИЙ О СЕБЕ: «ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО Я НЕ КРАСНЫЙ, НО И НЕ БЕЛЫЙ, Я — ПОЭТ...»



01

Г

Гумилев Николай Степанович — крупнейший русский поэт, драматург, критик, родоначальник акмеизма. После Октября избирался председателем Союза петроградских поэтов, работал в издательствах, руководил поэтическими студиями. На четвертом году Советской власти за участие в заговоре по «Таганцевскому делу» — расстрелян.

Это случилось ровно 100 лет назад.

Восемь слов

«Господи, прости мои прегрешения, иду в последний путь. Гумилев». Восемь слов — больше ничего не напишет. Да и их не написал — нацарапал на стене камеры № 77 Дома предварительного заключения. Слова эти дойдут до нас лишь ныне. Их запомнит Георгий Стратановский, также арестованный по

°1

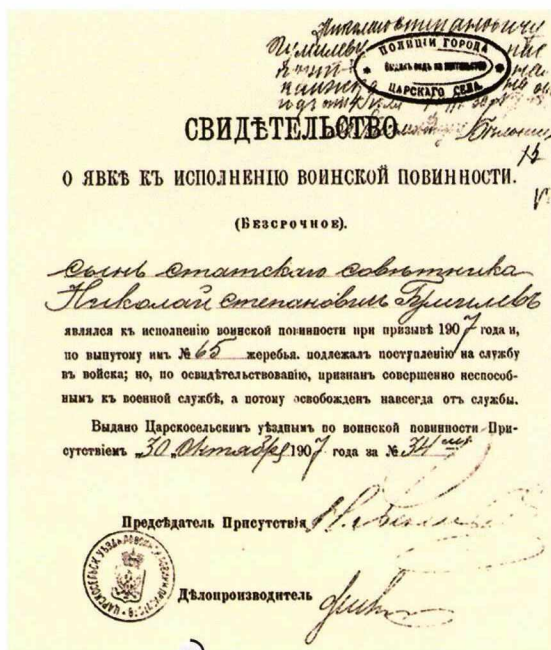
Николай Степанович
Гумилев (1886–1921)
в Царском Селе.



02

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Как в этом мире дышится легко!
Скажите мне, кто жизнью недоволен,
Скажите, кто вздыхает глубоко,
Я каждого счастливым сделать волен...
Пусть он придет! Я должен рассказать,
Я должен рассказать опять и снова,
Как сладко жить, как сладко побеждать
Моря и девушек, врагов и слово.



03



04

«Таганцевскому делу», и будет хранить в тайне — уму непостижимо! — семь десятилетий. Даже жене не скажет. Боялся!

А Гумилев все знал наперед. За пять еще лет до этого, получив на фронте второго Георгия, вдруг сказал: «Смерть нужно заработать...» И тогда же написал в одном из писем: «Я знаю, смерть не здесь — не в поле боевом. Она, как вор, подстерегает меня нежданно, внезапно. Я вижу ее вдали в скупом и тусклом рассвете...» Все предчувствовал. Как еще затемно узников тюрьмы на Шпалерной, скованных попарно, выведут во двор, где их будут ждать пятитонные грузовики и две легковые машины сопровождения — все с включенными фарами, как они молча, пряча глаза, будут помогать друг другу подняться в кузов, как на борту машин, тесным кольцом, зажав коленями винтовки, усядутся чекисты.

Он не только знал, видел это недавно. Четыре месяца назад, еще весной, такие грузовики прогрохотали как-то мимо него и поэта Николая Оцупа. В кузовах, писал Оцуп, стояли сотни обезоруженных кронштадтских матросов — участников только что подавленного мятежа. С одного грузовика раздался крик: «Братцы, помогите, расстреливать везут!...» Я, пишет Оцуп, схватил Гумилева за руку. Он перекрестился. А когда грузовики скрылись, сказал:



Это — лучшее время моей жизни. Каждый день быть под обстрелом, слышать визг шрапнели, щелканье винтовок, направленных на тебя, — я думаю, такое наслаждение испытывает закоренелый пьяница перед бутылкой крепкого коньяка.

Из письма Н. Гумилёва с фронтов Первой мировой войны



°2
Мемориальная доска на здании гимназии в Царском Селе.

°3
Свидетельство о явке Николая Гумилева к исполнению воинской повинности.

°4
М. Кудреватый. Поэты и судьба. 1990 год.

«Убить безоружного — величайшая подлость, — и, словно встряхнувшись, заканчивает Оцуп, добавил: — А вообще смерть не страшна. Смерть в бою даже упоительна...»

Упоительна! Его расстреляют, как и полагается, безоружным.

Но при этом погибнет он, это доказано ныне, все-таки в бою...

Серебряная стрела

Свора собак, одичавших от голода и военного коммунизма, сцепилась посреди улицы. Визг, вой, раздирающее кровь рычание. Боязливые прохожие шарахались в сторону, любопытные глазели издали, жалостливые зывали к состраданию. И вдруг, раздвинув плечом толпу,

в круг ступил высокий господин, в длинной дохе и ушастой оленьей шапке. «Позвольте!»—крикнул, и, не замедляя шага, что есть силы ударил сапогом в самый центр злобного клубка. И—невероятно! Псы поджав вмиг хвосты, брызнули в стороны. Человек улыбнулся и, ни к кому не обращаясь, сказал: «Их не стоит бояться. Надо правильно рассчитать удар. Вот и все...»

Это был Гумилев. Он не боялся ничего; смелость, представьте, считал оправданием жизни. Более того, утверждал: любой человек лишь настолько человек, насколько побеждает свой страх. Сцепившиеся собаки—дело обычное. Но чем больше я узнавал жизнь его, тем сильнее сцена эта казалась не просто знаковой—символической. Толпа и герой, страх и отвага, покорность обстоятельствам и вызов! Что псы, люди кидались в те годы друг на друга, сама Россия сцепилась в безумном клубке. И смелые гибли, увы, как раз первыми!..

«Серебряной стрелой»—так красиво назвала Гумилева за год до его смерти одна хорошенькая москвичка; она за день успела влюбиться в него. Написала: он был «весь в порыве, как готовая полететь во врага или в небо серебряная стрела». За первость, думаю, назвала. Вряд ли она знала его слова: «Я хотел все делать лучше других, всегда быть первым». Не знала наверняка и того, что знаем мы теперь. Что он, вообразите, даже некрасивость свою пытался побороть силой воли: часами стоял перед зеркалом, стараясь исправить врожденное косоглазие. Что еще семилетним рухнул в обморок, увидев, что другой мальчик победил его в беге. А в одиннадцать едва не покончил с собой, когда взрослые засмеялись, видя, как неловко он взобрался на лошадь.

Но главное, как расскажет потом Георгий Иванов, поэт, Гумилев еще подростком и ложась спать, и просыпаясь думал об одном: как бы прославиться. Стать полководцем? Ученым? Изобрести перпетуум-мобиле? Неважно! Только бы люди повторяли его имя, писали о нем книги, удивлялись бы и завидовали. И от природы застенчивый и болезненный, он «приказал» себе стать охотником на львов, уланом, получившим два Георгия, и наконец—знаменитым поэтом...

Триумфатор

В последний год жизни Гумилев был в Москве дважды. До этого тоже бывал, но не часто. Сначала приезжал подобострастным учеником Брюсова, потом любовником Черубины, хромой поэтессы Дмитриевой, из-за которой будет драться на дуэли с Волошиным, потом—мужем гораздо более знаменитой, чем он, Ахматовой. И лишь в последний год въезжал в Москву победителем: признанным поэтом, родоначальником акмеизма, наконец, что было важнее,—председателем Петроградского Союза поэтов (его как раз в 21-м году избрали на этот пост вместо Блока).



Ему не чужды были смешные ныне предрассудки: любовь к Родине, сознание живого долга перед нею и чувство личной чести. Он по этим трем пунктам всегда был готов заплатить собственной жизнью...

Александр Куприн



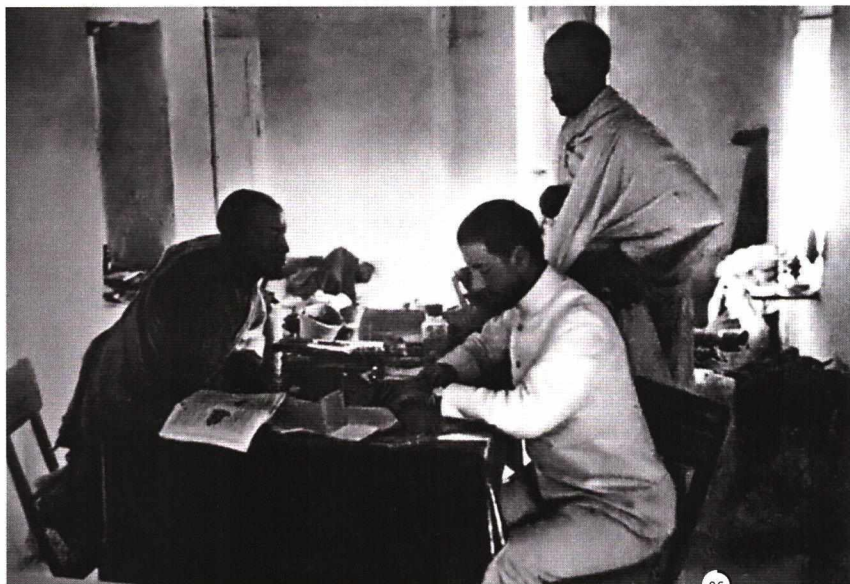
Но именно в последний год часы судьбы его были уже включены.

Первый раз появился в столице за десять месяцев до расстрела. Второй—в канун гибели, когда жить оставалось месяц и 19 дней. И ведь удивительно, но про Москву не написал ни одной строки—редкий случай в русской поэзии. А ведь как раз Москва и как раз в последний приезд могла и убить поэта, и спасти от неминуемой, казалось бы, смерти...

Ах, как эффектно возник он в первопрестольной! На лестнице в подвал Дворца искусств, на Поварской, на 22 выбитых ступенях ее, ведущих, по словам Цветаевой, в ад, сверкая белыми воротничками среди фуфаяк и трепанных кофт москвичей, явились в одночасье два петербургских поэта. Лестница бывшего графского дома Соллогубов, ведущая в подвальную кухню, переделанную в тот год под столовую, верите ли, невероятно знаменита, как и сам особняк. По ней ступали поэты от Бальмонта до Блока, весь Серебряный век ступал, а легкая Цветаева со стаканом в руке по несколько раз

°5

Николай Гумилев в форме лейб-гвардии Уланского Ее Величества полка. 1915 год.



06



Нужно всегда идти по линии наибольшего сопротивления.
Если приучить себя к этому, ничто не будет страшно.

Николай Гумилев



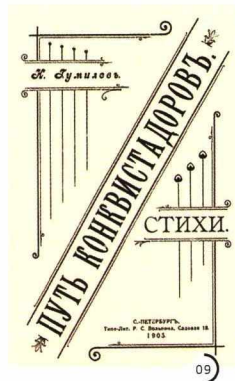
на дно слетала вниз за кипятком, когда недолго, полгода всего, служила здесь при Наркомнаце. И вот теперь под эти своды сходили Николай Гумилев и Михаил Кузмин. Приехали читать стихи на вечер в Политехническом.

И на календаре в тот день было 2 ноября 1920 года.

Поэтесса Серпинская, та, которая и назвала Гумилева «серебряной стрелой», вспоминала, как за длинным столом в подвале, где поэтов подкармливали чечевичным супом с воблой, возникли эти фигуры. Один — высокий, «гладко обпроборенный», другой — низенький брюнет. «Кузмин и Гумилев, — объявил Рукавишников, директор Дворца искусств, — приехали на несколько дней, останутся у нас». Лицо Кузмина показалось Серпинской мумией; он вяло ковырял вилкой в тарелке. Гумилев же был безукоризнен, «мужчина-завоеватель», напряженный, стремительный, с зорким глазом охотника. «Стрела серебряная» — лучше не скажешь.

Он не только «высмотрит» Серпинскую за столом («Вы сохранили, — шепнет на ухо, — черты настоящей женственности»), проводит до дома, предложив руку («Вы упадете одна»), просидит у нее до рассвета и навсегда влюбит в себя — он, ловелас и повеса, глазом охотника найдет на другой день в толпе у Политехнического еще одну девушку, давнюю знакомую свою, с которой еще в 1916-м столкнулся в Крыму и которую недоцеловал тогда на душных дорожках Массандры.

Имя ее — Ольга Мочалова.



09

- ° 6
Во время второй экспедиции в Абиссинию.
- ° 7
Н. Гумилев.
Человек с кинжалом, бегущий за оленем.
- ° 8
Н. Радлов.
Гумилев в Африке.
- ° 9
Первый сборник стихов.



07



08

Ольга

Она и ее двоюродная сестра Варя Мониная, юные поэтессы, познакомятся с ним, когда Гумилев между боями на фронте залечивал в Крыму простудный процесс в легких. Не знаю, рассказывал ли он Ольге, как с папиросой в зубах смело фланировал по брустверам окопов, за что ему влетало от командиров, говорил ли, как первым рвался на фронт. Позже, уже в 26-м, поэт Бенедикт Лившиц, также храбрый, удостоенный наград воин, скажет: «Только мы честно отнеслись к войне: я и Гумилев. Мы сражались. Остальные поступили как мошенники. Даже Блок записался куда-то табельщиком».

И ведь правда! Маяковского друзья построили в автороту, Есенина в санитарный поезд, Мандельштам и Пастернак вообще «косили» от армии. Понятно, знаем: война империалистическая, отказать можно было даже гордиться. И лишь Гумилев и Лившиц полезли в самое пекло. Причем Гумилеву этого надо было еще добиваться: он с 1907 года был вчистую освобожден от службы из-за астигматизма, а при поступлении в добровольцы (в «охотники», как тогда говорили) вынужден был еще из-за косоглазия получить разрешение стрелять с левого плеча. Был ли про то разговор с Олей — неведомо. Но точно знаю, что вперемешку с жадными поцелуями на краю дороги, ведущей в Ялту, он, рисуясь, говорил про победы сердечные, хвастал, что никогда не носит обручального ахматовского кольца (зачем подчеркивать «оковы»?), что, когда влюбля-

ется, глаза у него становятся голубыми и что она даже представить себе не может, как много дает поэту страстная близость.

А еще скажет фразу про нее, которую она запомнит: «В 18 лет каждый делает из себя сказку...»

И вот — новая встреча. В Политехническом. Из-за зверского холода он выступал здесь в своей экзотической оленьей дохе, мехом наружу. Кстате, во время чтения его в верхней боковой двери показался Маяковский с дамой. Шагнул в зал, да и замер. Потом за кулисами хвалил поэта, через пару лет на вопрос: «Хороший ли поэт Гумилев?» гаркнет с трибуны: «Хороший? Это мало. Он был хорошим контрреволюционным поэтом!...»

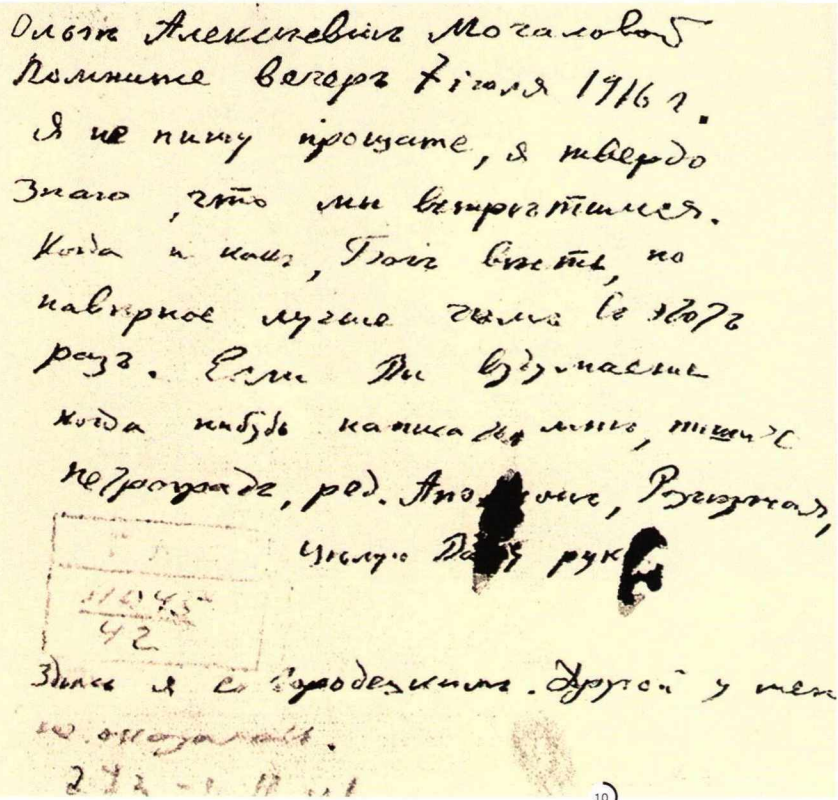
Впрочем, что было Гумилеву до его хвалы или хулы — на вечере он встретил Олю. И три ноябрьских дня они в Москве будут вместе.

Кажется, здесь, на Лубянке, он сразу прочтет ей стихи, которые ходили в Петрограде. О том, как умирают поэты: «Умер, не пикнув, Жорж Иванов, // Дорого продал жизнь Гумилев...» Посмеются, разумеется, хотя именно так он и умрет. На Тверском, против Литинститута, где он тоже читал стихи и где тогдашний заправила, некий Федоров, назовет его «третьестепенным брюсенком», а Надежда Вольпин — «поэтом для провинциалок», признается Оле, что любит ее: «Как хорош миг счастливого смеха той, кого целуешь». А потом, уже под вечер третьего дня, приведет ее на запасные пути, где стоял его поезд, назначенный к отправке в Петроград. «Вагон был пуст, — пишет она, — в купе остались вдвоем. Пили вино. В купе было большое зеркало, в нем промелькнули наши образы».

После близости, запалив свечу, глядя в ее блестящие в полутьме глаза, сказал: «В юности я выходил на заре в сад и погружал лицо в ветки цветущих яблонь. То же испытываю теперь, когда вы в моих руках». Сказал еще: «Жажда вас не иссякает, каждая женщина должна этим гордиться». Ее царапнуло лишь хвастливое признание его, что вот он и в Москве «взял женщину». Именно так — «взял!» Она словно забыла, что Гумилев, охотник, путешественник, воин, именно «брал» женщин (и скольких!), как брал города врага, пустыни Африки, пики творчества.

«Домой, — вспомнит потом Ольга, — летела как пуля. Больше не виделись. Долгие годы лежала в моем бюваре засохшая роза, подаренная им. Затем в порыве гнева, протеста, тоски я ее казнила». Не простит ему равнодушия к себе и сестра ее — Варя Моница, и ставший мужем ее Сергей Бобров, поэт. Но с Ольгой будет сложнее, будет все, как и предсказал ей Гумилев. Ее навсегда ранит эта стрела.

«Десятилетия он снился мне, — скажет в старости. — Разумеется, я любила других. Но среди других, неизбежно развенчанных, уцелел он один».



ПРЯМАЯ РЕЧЬ

*Перед ночью северной, короткой —
 И за нею — зори, словно кровь, —
 Подошла неслышную походкой,
 Посмотрела на меня любовь.
 Отравила взглядом и дыханьем,
 Слаще роз дыханьем, и ушла
 В белый май с его очарованьем,
 В невидимые, слепые зеркала...*



Последний приезд

«Я же хитрый, как муха...» Шутка, конечно. Хитрым не был никогда. И всего добивался с трудом. Скажем, в 1935-м Вячеслав Иванов, мэтр, учитель, законодатель мод «серебряного века», крикнет о нем из эмиграции: «Наша погибшая великая надежда». Для вечности крикнет! Но, увы, мы же помним, что он, «Вячеслав Великолепный», при жизни не только не считал Гумилева великим — едва ли не презирал. «Ведь он глуп, — говорил, — да и плохо образован, даже университета окончить не мог, языков не знает, мало начитан». А Ахматовой, когда она приходила к нему с мужем, потихоньку от Гумилева втолковывал: тот ей не пара.

И ведь мнения его были не безобидны — любого могли уничтожить. Их подхватывали: и слишком, мол, церемонный, и заносчивый. Даже Алексей Толстой, друг, и тот напишет: «Длинный, деревянный, с большим носом... В нем было что-то павлинье: напыщенность, важность...»

° 10, 11
 Записка Ольге
 Мочаловой.
 1916 год.

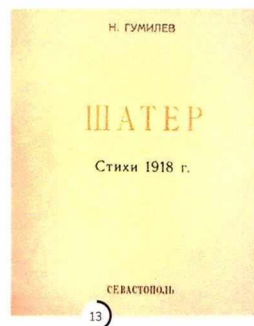


12

Только рот был совсем мальчишеский, с нежной и ласковой улыбкой». Напыщенность, важность... На деле, по словам Ахматовой, Гумилев был на редкость простым и добрым человеком. А важность и чопорность? Что ж, «noblesse oblige» — «положение обязывало».

Впрочем, в последний приезд в Москву, когда часы его судьбы, казалось, уже лихорадило, въехал вообще беспечным, в белой парусиновой шляпе набекрень. В этот раз возвращался из Севастополя, куда был приглашен самим командующим Черноморского флота, красным контр-адмиралом Немитцем и где беззаботно носился по морю на миноносце, напропалую пил спирт с мичманами и читал стихи то ли морякам, то ли соленым брызгам. Мальчишка и в 35, напишет о нем поэтесса Одоевцева: «Тщеславный, отчаянно храбрый мальчишка», — и, словно повторяя за ним, добавит: «который хотел быть всегда и везде первым».

В Ростове, по пути в первопрестольную, попадет на премьеру своей драмы «Гондла», кото-



° 12

Николай Гумилев (сидит в центре) со своими учениками из кружка «Звучащая раковина». 1921 год.

° 13

Сборник «Шатер». 1921 год.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

*...Я кричу, и мой голос дикий,
Эта медь ударяет в медь,
Я, носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть.
Словно молоты громовые
Или воды гневных морей,
Золотое сердце России
Мерно бьется в груди моей...*

рую ставил местный театр (восторг, аплодисменты, цветы) и всех актеров позовет в Петроград, скажет, что найдет помещение для их театра, что все устроит и вообще... Победитель? А когда покажется Москва, вынесет к дверям вагона самое дорогое — перевязанные пачки только что отпечатанного «Шатра» — новой книги своих стихов. За этим и ездил — моряки в издательстве своем на какой-то оберточной бумаге за ночь тиснули сборник его — 50 экземпляров всего. Конечно, победитель!

Но когда ступил на московский перрон, на календаре было 2 июля 1921 года. Полтора месяца до смерти...

На краю

Лихорадочно жил последний год, будто чуял конец. Да что чуял, знал — в Петрограде уже шли аресты по делу боевой организации, к которой имел отношение. Уже месяц сидел в тюрьме глава заговора профессор Таганцев. Город уже говорил про поджог трибун на Дворцовой накануне 1 мая, про подрыв гипсового (временного) памятника Володарскому и даже про подготовку покушения на Зиновьева — главу питерских большевиков. А Гумилевым уже была написана листовка, получен револьвер и деньги на агитацию — все скоро «всплывет» в его расстрельном деле. Его даже предупредят — за ним следят. А он — он весело твердил друзьям, что проживет до 90 лет, и успокаивал свою ученицу, догадливую поэтессу Одоевцеву, что его вряд ли тронут: «Я слишком известен».

Именно Одоевцеву, петербурженку, которой не раз твердил, что геройская смерть играет главную роль в славе поэта, он вдруг неожиданно нашел в Москве в этот последний приезд. Она жила на Басманной, у брата, куда он и заявился: загорелый, улыбчивый, помолодевший, в той самой белой шляпе. «Как вы меня разыскали?» — ахнет та. «Я ведь хитрый, — тогда и ответит он, — хитрый, как муха». Хвастливая фраза эта, скажет она, была верным показателем его особенно хорошего настроения.

Повторяю, хитрым не был. Напротив, был прямым, как гаран, как пущенная сильной рукой стрела. Пять раз делал предложение Ахматовой и дважды пытался из-за нее покончить с собой, пока не добился согласия. Трижды тре-

бывал выстрела на дуэли с Волошиным, когда у того случилась осечка, и ждал, стоял у барьера в ожидании пули. Дважды покорял Африку, да так, что местные не только называли детей в его честь, но отец будущего императора Эфиопии Хайле Селассие I подарил ему в знак благодарности одну из рек черного континента. Какого?! А когда на фронте при отступлении все вдруг бросились враспышную, он один кинулся под огнем вытаскивать брошенный на передовой пулемет, за что и получил второго Георгия!

Толпа и герой, помните, отвага и вызов? Да и в творчестве не хитрил—прямо рубил сцепившиеся узлы. За месяц до поездки на юг написал и бесстрашно прочел ученикам своей студии:

*Какая смертная тоска
Нам приходится и ждать напрасно.
А если я попал в Чека?
Вы знаете, что я не красный!
Нам приходится и ждать напрасно,
Пожалуй, силы больше нет.
Вы знаете, что я не красный,
Но и не белый, — я — поэт...*

Голгофа

Это правда. Не красный и не белый. Просто по натуре он был заговорщиком. С детства. И таких, надо признать, обожал. Здесь, в Москве, на углу с Георгиевским переулком стояло когда-то кафе поэтов, знаменитое «Домино». Стены в нем расписал сам Анненков, и на них в качестве украшения кто-то повесил и птичью клетку, и старые штаны поэта Каменского. Здесь в чайниках, маскировки ради, подавали чистый спирт поэтам и проституткам, чекистам и наркоманам. И здесь, за день до встречи с Одоевцевой, Гумилев читал стихи. Выйдя из кафе, заметил мужчину, который декламировал строки его. Читал не бледный юноша, не истомленная ночными бдениями девушка, вспоминал свидетель, стихами опьянялся мужчина в кожаной куртке. Крепко пришитая к плечам голова, кривоватые, в обмотках, ноги, библейское лицо.

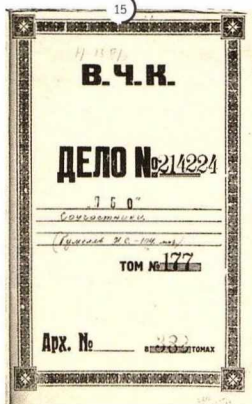
«Это что за Самсон?»— нечаянно вырвалось у Гумилева.— «Мне запомнились все ваши стихи»,— улыбнулся чтец. И назвался— Блюмкин! «Тот самый?»— вскрикнул Гумилев.

Ему ли было не знать Блюмкина, который два года назад убил посла Мирбаха. И поэт, не скрыв восхищения, с чувством пожал «куртке» руку: «Рад, когда мои стихи читают воины и сильные люди». Это тоже правда. Именно такой недавно и вовлек Гумилева в боевую организацию Петрограда. Гвардейский офицер по кличке Голубь, который дерзко ходил через залив в Финляндию, переводил людей, носил почту, снимал военные планы, и все с ледяным хладнокровием, с головокружительной храбростью. «Люблю таких»,— вспыхнет Гумилев и разыщет его. Георгию Иванову, другу, шепнет: «Это выше моей болтливости и твоего любопытства. Тут дело о



Я очень надеюсь, что Бог услышит мои молитвы и пошлет мне достойную героическую смерть... не сейчас, конечно... Ведь я еще столько должен сделать в жизни.

Из разговоров Николая Гумилева с поэтессой Ириной Одоевцевой



29) Гмильфабо, Семен Григорьевич, 47 л., б. владелиц Павильон-де-пари, беспартийный, зав. хоз. цементного завода; участник П. Б. О., дал согласие на снабжение оружием куляру финской разведки и члену организации Толь; вербовал членов организации; изыскал денежные средства для организации.

80) Гуминев, Николай Степанович, 33 л., б. дворянин, филолог, поэт, член коллегии «Изо-во Всемирной литературы», беспартийный, ф. офицер. Участник П. Б. О., активно содействовал составлению прокламаций к-револ. содержания, обещал сыграть в организации в момент восстания группу шите лиц, которая активно примет участие в восстании, получал от организации деньги на технические надобности.

81) Ястребов, Николай Иванович, 32 г. к-н Воронежск 16) уб., член коллегии

° 14, 15

«Дело» и последние фотографии поэта.

° 16

Сообщение о расстреле Николая Гумилева в «Петроградской правде». 1921 год.

жизни и смерти, может, всей России. Могут лишь сказать—это один из самых смелых и замечательных русских людей».

Голубя убьют при очередном переходе границы. И Гумилев знал это уже, когда в комнатке Одоевцевой на Басманной вдруг улыбнулся и, подняв указательный палец, сказал: «Завтра обратный путь, домой. Но сегодня задам пир на весь мир. Быстрота и натиск. Буду вечером выступать... Как же без вас?..»

Читал стихи как раз во Дворце искусств, где останавливался в прошлый раз. Не знаю, сказал ли Одоевцевой, что накануне ночью, найдя эти ворота Дворца запертыми, лихо перемахнул через ограду, ибо там в одном из флигелей его ждала очередная женщина. Запомните, друзья-читатели! Эту ограду, которая и ныне ограждает дом на Поварской, брал штурмом поэт Гумилев! И здесь же, в каком-то длинном зале, последний раз читал Москве стихи. Сначала пророческие:

*Но я за все, что взял и что хочу,
За все печали, радости и бредни,
Как подобает мужу, заплачу
Непоправимой гибелью последней...*

Потом—любовные. Смерть и любовь—его темы. Но, увы, зал был враждебен—сбившиеся в стаю бездари хуже своры собак. Нравы у писателей и волков одинаковы, говорил он недавно Одоевцевой. И когда прочел: «Вы сегодня бледней, чем всегда, // Позабывшись, вы скажете даме, // И что дама ответит тогда, // Догадитесь, пожалуйста, сами...», в зале раздался громкий

театральный шепот: «Ответит то же, что и мы: дурак!». Все засмеялись...

«Я холодею, — пишет Одоевцева. — Гумилев не мог не слышать «дурака». Но, пишет она, «поэт еще выше поднимает голову и гордо смотрит перед собой...»

Фразу пустил по залу человек «с красным ртом вампира», поэт Сергей Бобров. Имя его тоже запомните! Я думал сначала, он из ревности; его жена, Варя Моница, двоюродная сестра Мочаловой, и первой познакомилась с Гумилевым еще в Массандре, и первой влюбилась в него. Потом думал — из зависти: поэтом Бобров был никаким. И лишь позже узнал: он из сцелившейся стаи. Водился, дружил с чекистами. А после расстрела Гумилева, «дергаясь мордочкой эстета-преступника», сказал, будто о пустяке:

° 17

Н. Гончарова. Николай Гумилев. 1917 год.

«Да... Этот ваш Гумилев. Нам, большевикам, это смешно. Но, знаете, шикарно умер. Я слышал из первых рук. Улыбался, докурив папиросу. Даже на ребят из особого отдела произвел впечатление. Пустое молодечество, конечно, но все-таки крепкий тип. Мало кто так умирает...»

Часы судьбы

Гумилева расстреляют в 35 лет. Он не успеет написать историю мира с его сотворения в двенадцати книгах, выпустить пять томов «Искусства поэзии», создать поэму «Дракон» и тоже — чуть ли не в три тома. Когда ему сказали, что такой поэмы никто и не прочтет, он, не без веселой угрозы, ответил: «Зато когда-нибудь ее заставят зубрить...»

Заговор, вмененный ему, как пишут ныне, был почти фарсовый (пара-тройка интеллигентов да несколько авантюристов): чекисты арестовали 200 человек, расстреляли 87 и весь состав питерской коллегии ЧК сместили после процесса. Но Гумилев все принимал всерьез и, кажется, иначе погибнуть и не мог. Ведь «смерть нужно заработать» — мыслите?!

В Москве, на Мясницкой, тогда она звалась улицей Зиновьева, он ранним утром (еще не ходили трамваи) спешил на поезд в Петроград. Часов давно не носил, говорил, что время знает «шестым чувством», присущим гениям и кретинам. Но часы судьбы его уже бешено отсчитывали последние минуты. Пешком через весь город провожал его друг — Борис Пронин, актер, маэстро по жизни. И вдруг, вспомнит он, где-то здесь, на Мясницкой, на них рухнул сверху кусок карниза. «Мимо, — крикнул Пронин, — слава Богу, мимо!» Гумилев, вообразите, даже не оглянулся. Да, Москва могла его нечаянно убить, но могла — вполне чаемо! — и спасти: его ведь звали остаться в городе на месяц, на два. Нет, ринулся в Петроград, в самый «узел» следствия, в сцепившуюся свору...

«Прощайте! Бесстрашно на казнь я иду, над жизнью моей вы не вольны» — это он написал, невероятно, еще в 15 лет...



Он стрелой летел к славе. Так летел, что и после ареста вышел в свет его «Огненный столп», а после расстрела, в тот же год и в следующий, были переизданы «Жемчуга», «Костер», «Фарфоровый павильон». А на премьере его «Гондлы» (ростовский театр, помните, все-таки переехал в Петроград!) зрители отбивали ладони: «Автора!.. Автора!..»

Современник поэта, писатель Василий Немирович-Данченко считал, что Гумилев был бы на месте в Средние века: «Опоздал родиться лет на четьреста!..»

А я думаю — успел в срок. Ведь серебряные стрелы, если они и впрямь серебряные, целят в будущее, и потому — никогда не падают!

